

Публикуемый ниже фрагмент мемуаров Михаила Тарусина (род. 1958 г.) в силу двух причин интересен для исследователей истории современной российской социологии.

Прежде всего, рассказ Тарусина, выпускника философского факультета МГУ, позволяет увидеть один из путей, которыми приходили в социологию молодые люди на рубеже 70-х — 80-х годов прошлого столетия. Уникальность траектории его движения "в профессию" складывается из в общем-то типичных, характерных для студенчества и молодых специалистов тех лет ситуаций, или кейсов. В воспоминаниях Тарусина время очень зримо: представители старших поколений социологов социализировались и профессионализировались иначе, и совсем по-другому, скорее всего, будет происходить погружение в социологию представителей следующих поколений.

Вторая причина интереса к тексту Тарусина заключается в том, что его появление дает возможности для историко-научно-ведческого анализа, учитывающего традиции биографики и биокритики<sup>1</sup>. Пять лет назад он дал мне обстоятельное биографическое интервью, которое тогда было опубликовано в не существующем уже журнале Фонда "Общественное мнение" "Социальная реальность". Сегодня оно доступно в Интернете<sup>2</sup>. Теперь у нас есть два изложения ряда значимых для Тарусина событий, отображенных по-разному. В интервью — кратко, в мемуарах — пространнее, детальнее; каркас интервью задавал я, структуру воспоминаний — их автор, да и годы, разделяющие эти тексты, могли что-то изменить в восприятии Тарусиным былого, а значит — и в отражении.

**Борис Докторов**

## Типично нетипичная история

**Михаил Тарусин**

социолог, публицист

руководитель отдела социологических исследований  
Института общественного проектирования (Москва)

### Свет ученья

...В то время мы, конечно, не только гуляли, а, в основном, учились на философском факультете, что тоже имело свои пригорки, ручейки. Учиться было весело и необременительно, лекции начинались в 18.30 и было их две пары, т.е. два раза по 1 часу 20 минут с перерывом на 10 минут на перекур, так что заканчивалась эта история в 21.20. Что позволяло, при известной сноровке, успеть в "Москву" (которая, как известно, была до 22.00), если набиралось на два пузыря "Настойки Степной горькой" в 34 оборота. Последняя была страшно вырвизгазистой и какой же крепости были наши желудки, что мы спокойно квасили эту жуть с одним плавленым сырком и четвертушкой черного на троих.

Но вернемся к лекциям, которыми, надо сказать, мы манкировали редко — и предметы были по душе, и сами лекции читались людьми известными, и учеными, и читались не за страх, а на совесть. Посещали мы даже политэкономии и научный коммунизм — поручики (так мы, четыре друга-студента одного курса, стали называть друг друга, решив, что принадлежим к одному полку царской армии) из искреннего желания разобратся, я — за компанию. Но главное, конечно, было в другом.

Древнюю философию читал Арсений Николаевич Чанышев, прекрасный специалист, умница и лекции его были замечательны, мешало только одно печальное обстоятельство — дикция его не позволяла понять ни одного сказанного слова и первое время мы даже думали, что он ходит вечно косой. Но нет, было видно, что и соображает и ориентируется он прекрасно, и сказать может всё, только вот разобрать ничего нельзя. Но на лекции его все ходили, первый ряд поточной кое-что понимал, остальные чувствовали, что говорится нечто важное и полезное, а порой и разбирали с горя чанышевскую кашу.

Зарубежную философию читал Геннадий Георгиевич Майоров, и своим глубоким знакомством с Кон-фу-дзы и Сиддхартхой Гаутамой мы обязаны именно ему. Помимо прочего он был еще и прекрасный человек, никогда не вязался к студентам по-



пусту, давал знания и спрашивал знания, с каждого в его меру, которую определял своим глубоким и спокойным умом.

Отдельно расскажу о Юрии Константиновиче Мельвиле, с которым у меня случился целый антироман. Он преподавал западную философию, был изящен, элегантен и импозантен, носил очень яркие по тем временам костюмы, состоящие, к примеру, из голубого пиджака, светлых брюк и цветного шейного платка, повязанного под открытым воротом розовой приталенной рубашки. Имел он при этом седые волнистые весьма длинные волосы и изысканную речь.

Он сразу раскусил во мне профессионального раздолбая, за что и невзлюбил джоже. Когда же он узнал, что на меня пришла телега из выпрезвителя, то потребовал моё личное дело. Из которого выяснил, что я хвостат сверх меры, да вспомнил заодно, что и на его лекции я ходил через одну и громогласно за-

<sup>1</sup> Шалин Д. Проблемы мемуарной этики и достоверности биоинтервью. Настоящий выпуск "Телескопа", стр. 8-17

<sup>2</sup> Тарусин М.: "Мы формировались во времена отрицания" // Социальная реальность. 2007. № 7. С. 55-79 (Докторов Б. Современная российская социология: Историко-биографические поиски. [Электронное издание]. Том 2. М.: ЦСПиМ. 2012. С. 1262-1287 <[http://www.socio-prognoz.ru/files/el/hta\\_CD/Publications/tom\\_2\\_4\\_10.pdf](http://www.socio-prognoz.ru/files/el/hta_CD/Publications/tom_2_4_10.pdf)>).

явил, что таких студентов как Тарусин нельзя на пушечный выстрел подпускать к Университету. После чего завалил меня на экзамене, благо это было нетрудно. И заодно на пересдаче, после чего мне предстояло сдавать злополучный экзамен по зарубежке уже целой комиссией. Довершил ситуацию я тем, что выпустил прямо Мельвилю в благородное лицо струю дыма — я курил и не видел, как он появился из-за угла. Сама смерть подошла ко мне из-за угла и я взглянул ей в лицо.

После этого со страху я вызубрил всю зарубежную философию наизусть, включая труды и лекции самого Мельвиля, и отвечал притихшей комиссии так, что сам мой мучитель быстро всё понял и на вопрос членов комиссии есть ли у него вопросы, только рукой махнул.

Но, конечно, самой яркой звездой был Александр Леонидович Никифоров, наш любимый педагог и учитель, о котором необходимо сказать особо.

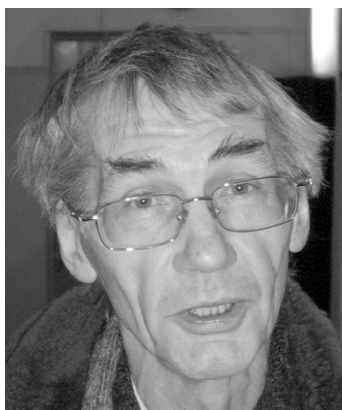
Я привожу тут его лик, когда он был, конечно, моложе, но так же расхристан и нескладен. А еще обаятелен, чрезвычайно умен, очень талантлив, имел доброе сердце и широкую душу. Искренне любил и уважал чужой ум и вообще во всём был редким по благородству и порядочности человеком. Он читал блестящие лекции по теории познания и, в отличие от своих коллег, очень любил, когда ему задавали вопросы, а еще больше — когда студенты начинали с ним спорить. В этом он видел основу самостоятельного мышления и в таких случаях сам закипал своим творческим темпераментом и принимался прохаживаться взад-вперед, потирая руки и приговаривая "так, так! Так, так, так, интересно, интересно!"

Поскольку вопросы задавали, в основном г-да поручики, т.е. наша "четверка друзей", он сразу стал нас выделять и очень быстро наши отношения переросли в близкие и близко дружеские. Настолько, что мы стали ходить к нему домой и стали устраивать философские посиделки у него на кухне с парой-тройкой бутылочек портвейнчика и домашней закуской, которую предоставляла его жена Лера, терпевшая нас с истинно христианским смирением. Жили они тогда с двумя детьми в отдельной 2-х комнатной квартире в старом доме у метро Бауманская, так что по дороге к Никифорову мы каждый раз проходили мимо дедова особняка на Немецкой (до революции он принадлежал моему дедушке Сергею Александровичу Занковскому), в котором тогда была совковая контора, а теперь живет олигарх Петр Авен.

На маленькой кухне велись бесконечные разговоры о жизни, о науке, о душе, о философии. Конечно, и о Советской власти, но никогда эта тема не была для нас приоритетной — слишком мелкой была она для наших возвышенных умов, хотя все мы, конечно, всё прекрасно понимали. В наиболее оживленные минуты Никифоров вскакивал и принимался прохаживаться по кухне — три шага туда, три обратно — потирая ладошки и приговаривая: "так, так, интересно, интересно!"

До сих пор вспоминаю, как он в буквальном смысле вытащил меня из учебной дыры, куда я сам себя уронил. Дело состояло в том, что на третьем курсе я вдруг не написал курсовую. Всё чего-то ждал, тянул, выбирал тему и довыбирался до сессии вообще без работы. И совершенно без понимания, что теперь делать. Этим непониманием я поделился с поручиком Парфеновым совершенно без всякой задней мысли, а просто от тоски. И он вдруг говорит мне:

— А ты попроси Никифорова, он тебе поставит курсовую в зачетку, какие проблемы?



Такое решение проблемы никак не могло придти мне в голову, я вообще не привык кого-то просить, а тут преподавателем, пусть и дружески близкого. Даже, тем более, что близкого. Но как на беду разговор случился в курилке на лестнице факультета, перед лекцией Александра Леонидовича и он собственной персоной вдруг оказался рядом с нами. Но я так и не решился на просьбу, за меня это сделал легко и непринужденно Парфенов и Никифоров тут же, ни мало не смущаясь несправедливой просьбой, вынул ручку, предложив мне сразу же написать тему курсовой в зачетку. Я еще и замялся с темой, еле родил какую-то дурацкую и Никифоров тут же расписался в зачетке, прибавив, что если будут спрашивать текст (времена были безкомпьютерные, писчие), так сказать, что курсовая у него, дескать, а уж он отбросится. Искренняя благодарность моя не знала границ, в ответ на что Никифоров совершенно искренне отвечал, что это сушая ерунда и даже говорить тут не о чём, пожелав только, чтобы в будущем это не вошло у меня в привычку.

— Не потому что подписи жалко — пояснил он — это хоть сколько. Но к учёному писанию лучше с ранних годов привыкать, привычка — натура. Как известно.

Я привыкал не очень, но вдруг написал художественную повесть в сто рукописных страниц, где живописал свои собственные жизненные опыты да окружающих меня людей в каком-то залихватском сюжете. Точнее, она сама как-то написалась и все, кому я потом давал эту писуху, отмечали "очень хороший стиль и слог". Я как-то не внял, что в моём слоге такого хорошего, и более за художественное перо не брался аж до сорока лет, а брался только за научное и то исключительно по производственной необходимости. Ну, да об этом в своё время.

А пока, кроме учебы, я устроился вахтером в МГУ по системе "сутки трое", т.е. сутки на вахте, трое суток на отдых. Этому предшествовали мои трудовые подвиги сначала в маленьком продовольственном магазине в начале Волхонки, потом в булочной на Герцена. Обе попытки закончились плачевно. В магазин меня взяла заведующая, бойкая поджарая бабенка. Она сразу сказала, что ставки на меня нет, но что она эту ставку непременно выбьет и предложила мне начать работать под ее честное слово. Я людям верил и работать начал. А надо сказать, что в тот период (это был 2-й курс) я еще не начал квасить и стал в магазине хоть и 3-м рабочим грузчиком, но 1-м трезвым, им же и последним. Собственно, 3-м меня взяли оттого, что в магазине сделали секцию хлеба самообслуживания, за которой стоял я и подкладывал хлеб на лотки. Но когда приходила машина хоть с хлебом хоть с чем другим, то я разгружал ее вместе с остальными работягами (а порой и вместо них).

Кроме хлеба, магазинчик наш торговал продуктами, как-то мясом и колбасой, сыром и прочими молочными товарами, баккалей и — с 11.00 — спиртным, среди которого особой любовью у местных алкашей пользовался дешевый портвейн и водочка. Поскольку магазинчик был маленький (вы и сейчас можете его навестить, не знаю только, по какому поводу), то и подсобки были небольшие, маленький кабинетик бойкой заведующей, да подвал с грузовой платформой для опускания и поднятия тяжелого товара. Это всё в люке пола подсобки, который, закрываясь, давал возможность носить ящики с продуктами и спиртным в торговый зал.

В котором работали две толстые тетеньки продавщицы, одна из которых особенно лезла ко мне, увидав как-то, что я в свободное время читаю "Онегина".

— Ты не смотри, что я тут так одета — чирикала она — у меня дома и золото в кольцах, и хрусталь, и ковры. Всё как у людей, что ты! А на работе неча выпендриваться, чего там, тут свои все...

Обе торговые тети любили и умели "поиграть на бумажке", т.е. наложить на весы крафтовой плотной бумаги, в которую тогда заворачивали весовые продукты, столько, чтобы создать лишние граммы, за которые покупатель платил, естественно,

по цене колбасы, которую брал. И уж конечно, ни об чём, кроме этой колбасы, не думал, что ему эти граммы лишние. А у тетки в день на одних весах с бумажкой червонец без напряжения набегал. Безо всяких опасных игр с самими весами, что могло иметь нехорошие последствия — в те времена контролеров ОБХСС если и покупали, то на более солидном уровне, с продавщицами они дела не имели.

Сужу по одному эпизоду, коему сам был свидетелем. "Бухло", как я говорил, продавали с 11.00, но наши тётки часто сердобольничали и тихонько совали алкашу бутылку портвейшка, скажем, где-то без четверти. И вот как-то раз сует она по жалобной просьбе доходяги ему пузырь, он привычным жестом прячет его в карман, выходит из магазина и тут же заходит обратно, влекомый за руки двумя недобрыми молодцами. Которые предъявляют нашей Клаве бутылку, извлеченную из кармана опешившего алкаша, предъявляют ей же свои страшные "корочки" и требуют заведующую. И ей уже приказывают закрыть магазин на проверку факта продажи спиртного до положенного времени.

Надо сказать, что бабы наши струхнули порядком. Алкаш что-то бубнил о том, что бутылку он купил еще вчера, но забыл выпить, а сегодня мол, за сдачей пришел, но его никто не слушал. Спросили меня, что я видел, на что я сказал, что из-за хлебных стеллажей зала торгового не видно. Что, в общем, было правдой, если б я не стоял в момент преступления в дверях подсобки, но об этом факте я умолчал и далее в событиях не участвовал. Наша зав. баба (то бишь директор магазина) всё звала незваных гостей в свой кабинет, от чего они всё отнекивались и всё составляли какой-то протокол и грозили охающей продавщице страшными карами. А надо сказать, что звала она в кабинет не всякого, и кто к ней в кабинет входил, выходил обычно не с пустыми руками. Держала она там кофе растворимый индийский (в низких банках, был еще наш — в высоких, так тот был хуже), сервелат финский, баночки с черной и красной икрой, наборы конфет, боржоми (дефицит), югославскую ветчину в банках... Я всё поражался, как там всё это помещается, кабинетик маленький, стол да сейф. Но своя ноша, видно, не только не тянет, но и места много не берёт.

Наконец она затащила таки закон в кабинетик, откуда тот вышел уже обезоруженным, магазин открылся, впусив толпу озадаченного народа, проштравившейся Клаве был показан грозный указательный палец, а молодцы с пакетами убралась восвояси.

Я работал, часто разгружая машины один, когда мои коллеги находились в ненадлежащем состоянии, но через месяц деньги мне не дали.

— Не успела оформить — сказала заведующая и в качестве компенсации продала мне дефицит — ящик боржоми, который был очень нужен язвенной бабе Соне.

Ладно, я внял сложностям, но еще через месяц бойкая заведунша объявила, что ставку мою ей выбить не удалось, и денег на меня у нее нет.

— Как это нет? — спросил я.

— А вот так и нет — был ответ — так что звиняйте.

"Звиняйте" меня никак не устроило, и я пошел в райторг, где записался на прием к большому начальнику и попал к нему, видному мужчине и рассказал о своей беде, был внимательно выслушан и получил приглашение прийти завтра для окончательного решения вопроса. Завтра в кабинете я увидел притихшую заведующую, которой было сказано так:

— Человек у вас работал два месяца?

— Работал — был тихий ответ.

— Так в чем дело? Платите. Какие тут вообще могут быть разговоры? "Ставки нет, денег нет". Знаю я, как у вас денег нет.

Видимо заведующая ожидала такой оборот дела, потому что тут же выплатила мне 180 руб. в конверте, за которые я даже нигде не расписался и, выйдя из кабинета, услышал одобряющие слова секретарши за столиком:

— Вот молодец. Добился своего, так и надо. С ними.

Но у меня сложилось ощущение, что это не я добился своего, а сама г-жа справедливость приложила руку. Не знаю, как сейчас рулятся такие ситуации, и бывают ли вообще, но всё это я к тому, что права трудящихся в совке всё-таки как-то защищались. И защищенный я устроился в булочную на Герцена, совсем близко от дома, куда и так ходил за хлебом каждый день, а теперь брал его там бесплатно. Как рабочий грузчик с окладом в 85 руб. и графиком работы сутки — трое. К чему привыкнал тяжело, поскольку сначала надо с 8.00 утра до 20.00 отстоять за стеллажами (булочная была самообслуживание, мода на это дело была уже в разгаре), а потом всю ночь ждать машины с хлебом, которых приходилось разгружать до пятнадцати штук. Только приляжешь на матрац вздремнуть, как гудки на улице — подымайся. До сих пор не пойму, зачем надо разгружать пятнадцать машин по десять лотков, а не одну полностью.

Всё дело было в том, что разные фабрики пекли разные сорта (почему не могла одна фабрика разные печь?), а мы обязаны были иметь ассортимент, наличие которого сам тов. Гришин (Секретарь МГК КПСС) лично проверял, захаживая порой в магазины неожиданно, чего все боялись страшно. Кстати, меня от него прятали, я был даже волосат, а тов. Гришин хипарей не терпел, а пуще в торговом зале. Но, бывало, меня ввечеру отправляли в булочную у Никитских ворот с тележкой, когда было видно, что батон по 13 коп. к примеру, до закрытия не хватит. В булочной выручалке (кстати, москвичи всегда говорили булосная) мне сваливали 20 батон в холщевый мешок, а в следующий раз мы выручали их. Кстати, по причине боязни потери ассортимента обычно заказывали хлеба на завтра больше, чем надо и постоянно что-то оставалось. Тогда утром следующего дня сначала продавали "черствяк", т.е. вчерашний хлеб, а уж потом ночной. Бывало, москвичи, для которых хлеб, как известно, всему голова, упирались и черствяк никак не шел. Тогда на 3-й вызывали спецмашину, и она забирала черствяк для спецпекарен, которые пекли хлеб для московских тюрем. Говорили, выпеченный из "вторичной" муки хлеб не черствеет, а только киснет. Не знаю, не пробовал. Зато знаю, что грех есть на мне, вот какой: если на черствяке появлялась плесень (машина со спецпекарни могла и на 4-й день придти), то сдавать его на вторичный помол было уже нельзя, а надо было списывать как потери, и булочная за такое списание платила из своего кармана. Конечно, никто этого не делал и порой меня сажали с влажной тряпочкой стирать плесень с зацвевшего черствяка. Прости Господи.

Еще порой мне с утра собирали самый свежий хлеб и сдобу и я на тележке вёз все это к Никитским же воротам, где, на Большой Бронной были дома ЦК. Из чего читатель может заключить, что слуги народа ели тот же хлеб, что и простые смертные, ну, может, только отобранный потщательнее. Так ведь и в булочной человек себе пригорельный не возьмет.

Возить тележку было весело (чем за стеллажами-то торчать), но больше всего мне нравилось разгружать машины днем, когда открывалось окно разгрузки, я брал крюк на длинной ручке, чтоб сподручнее было ухватить лоток, который водила подавал из машины. Захватывал лоток и, перехватив ручкой, принимал к себе. Но если водила еще только раскрывал дверцы, а мимо кстати проходила простодушная барышня, как же сладко было ухватить ее сзади за ремешок плаща и смотреть, как она в ужасе пыгается отпрянуть в сторону, не понимая, что и кто ее держит.

Кончилось всё это тем, что на хлебозерке (черный всегда резали пополам и на четвертушки) с намертво отточенным лезвием меня кто-то толкнул под руку, и я отрезал себе кусок указательного пальца на правой руке (будучи левшой). Отрезанный кусок еле держался, и меня отправили своим ходом в травмпункт на Красной Пресне. Он и сейчас там, только Пресня не Красная. Пункт потряс меня обилием клиентов, но меня, ввиду кровавости длани, обслужили быстро, палец зашили, да

еще сделали укол против столбняка, совсем, на мой взгляд, ненужный. Я тогда думал, что столбняк, это когда кто-то столбом застыл, Бог весть по какому поводу.

Еще мне выдали больничный аж на два месяца с сохранением жалования и началась лафа, поскольку ни работать, ни писать я не мог, а только слушать лекции да держать рюмку. И второе я делал куда охотнее первого.

Но в булочную больше не вернулся и вот тогда уже устроился вахтеров в МГУ, всё на тот же режим 1-3, благо ночью можно было спать во всю носовую завертку.

Такие веселые труды сопровождали нашу молодость.

### Первая социология

Впрочем, скоро веселья поубавилось, поскольку я перешел на последний курс и пора было подумать о работе по профессии, благо я уже думал, что кое-что могу. Тут как нарочно возле учебной части повисло объявление, что в какой-то ВНИСИ требуется социолог, и я пошел устраиваться на работу социологом.

Принял меня начальник отдела НОТ Подольский Александр Иванович, рыжеватый бойкий еврей лет сорока и сразу взял на ставку инженера в 120 руб. В то время вдруг стали набирать социологов в промышленные отрасли, ожидая от них каких-то социологических чудес, и я попал под эту компанию. К тому же в светотехнической подотрасли, которую курировал институт с нескладным именем ВНИСИ, начиналась социальная паспортизация, которую задумал харьковский социолог Юрий Львович Неймер, и отделу НОТ института потребовался социолог, чтобы вести эту странную и небывалую работу. Тут я вовремя появился и был принят под эту паспортизацию, хотя в отделе уже сидел один самостоятельный социолог, т.е. из каких-то переручек, а я все-таки был с университетским образованием, так сказать без пяти минут профессиональный социолог с пылу с жару.

Сначала Неймер прислал методические рекомендации по организации работы этой паспортизации, и мы с коллегой — хитроватым мужиком лет тридцати пяти — днями изучали эту трехамудию так, что я ее выучил почти наизусть. Но далеко не всё понял. Одновременно я понемногу начал осваиваться на новом рабочем месте.

Отдел НОТ (научная организация труда) состоял из двух групп, я работал под руководством Аллы Викторовны Соболевой, очень приятной женщины, лет где-то за сорок, которая называла меня "Мишенька солнышко" и вообще очень дружелюбно ко мне относилась по добросердечию своему, несмотря на то, что ей от меня доставалось. В основном утром, в виде густопсового перегарного духа, который я изрыгал прямо на нее — комнатенка, где наши нотовцы сидели, была небольшая, и мой стол приходился прямо возле ее стола. Она молчала, и только потом я узнал, что она тяжело страдала и говорила, что еле терпит "этот жуткий выдох". Простите меня, Алла Викторовна.

Слева у окна восседал Александр Иванович Бердников, крепко скроенный и ладно сшитый мужчина тоже за сорок, кандидат технических наук, основательный во всем, да при том страстный охотник, приносивший в отдел жаканы от своего ружья, охотничьи рассказы, а порой и "дичь", которой угощал меня. Именно так я впервые в жизни отведал медвежатину. Она была жестковата, но духовита и сочна. Александр Иванович также был сильно неравнодушен к слабому полу, о чем тоже имел на пазухой много историй о своей донжуанской практике, которые более относились к временам прошлым, нежели настоящим.

Порой он властно и на повышенных тонах говорил по телефону с женой, а как-то раз так на нее разорался, что уже собственно и не орал, а ревел совершенным медведем, каким-то жутким медвежьим ревом, так что и нам ни слова было не понятно, а уж онемевшей жене в трубке и подавно. Дело в том, то

у него был диабет, порой сахар зашкаливал, и в такие минуты Александр Иванович становился не совсем адекватен, а порой и совсем неадекватен. В остальное время это был спокойный и вежливый со всеми человек, покладистый и трудолюбивый.

За ним сидела Валентина Конакова, замужняя молодая женщина с двумя детьми, один из которых потом трагически погиб пятнадцати годов от роду. Мы все были на его похоронах, чего никакому врагу не пожелаю. Омертвелая Валя молчала и только сказала, что "так не должно быть", и страшнее фразы я в жизни не слышал.

Еще был худой и бойкий парень, молодой специалист, слева от меня сидела Лиля, юная татарочка, кровь с молоком, ведущая активный образ жизни. К ней порой захаживала подружка, по которой тоже было видно, что монастырь — не ее удел. Отдел наш собственно и был НОТ.

Двумя этажами выше располагалась вторая группа отдела, занимавшаяся какими-то производственными нормативами. Ее возглавлял некто Григорян, смуглый армянин в годах, немногословный и несуетный, там же сидела Мария Ивановна, тетка явно деревенской породы и совсем немудрой сути. Она доверительно говорила мне:

— Миш, ну мы же лучше всех в мире живем! Ну, прям ну лучше всех! Ты погляди в телевизор, что у них там делается, это ж кошмар и ужас! А мы прям слов нет, до чего живем хорошо, прям слов нет!

Там же, в первой комнате было пространство, отгороженное с двух сторон высокими шкафами, внутри которого (пространства) сидел начальник отдела Подольский, и попасть к нему можно было, только пройдя через дверцу шкафа. Когда я первый раз вдруг услышал откуда-то из шкафа человеческий голос, сначала решил, что почудилось, а потом — что кого-то посадили в шкаф за некую тяжкую провинность. Но Григорян дал мне знак не смеяться, а из шкафа показался сам начальник отдела НОТ собственной персоной.

Примечательно, что все сотрудники института спокойно ходили к Подольскому в шкаф безо всякого удивления и смущения, будто люди везде и всюду сидят в шкафах, и в этом нет ничего странного. Внутри шкафов у Подольского помещался стол, два стула для посетителей и один открытый шкаф был обращен полками лицом к нему, так что и место для бумаг и папок тоже было. Я как-то сразу понял, что шкаф для начальника это серьезно и шутить на эту тему нельзя, но сам долго не мог привыкнуть к этому шкафному абсурду.

Что делали все эти люди в отделе сегодня сказать сложно, но тогда работа кипела и работа была напряженная. Скажем, Валя Конакова весь год судорожно собирала какие-то крайне важные данные с предприятий, звонила по городам, ругалась, ездила в командировки, и всё собранное записывала в здоровые разлинованные миллиметровки. К концу года у нее получался огромный талмуд, который она сдавала в министерство, где ей "закрывали тему", после чего талмуд отправлялся в архив, а для Вали всё начиналось сначала. Только советская закалка позволяла справляться с этим бесконечным сериалом абсурда. Причем без видимых потерь.

Институт ВНИСИ разрабатывал разные светотехнические приборы, а также люстры, лампочки, новые источники света и что-то совсем уж секретное и имел более тысячи работников и опытное производство. Естественно, из института тащили всё, что плохо лежит. А плохо лежало там много чего и институт сотрудники называли не ВНИСИ, а ВИНЕСИ. Но когда с опытного производства уперли нехилый станок, директор Пляскин не выдержал. Павел Владимирович был здоровенный совсем лысый мужик примерно моего роста, лет под шестьдесят, родом и карьерой из Саранска, жизнь и работу в котором он часто вспоминал со зримой душевной ностальгией — видно было, что именно там прошли его лучшие годы. В Москве он явно чувствовал себя неуютно и, дирекствуя, тихо доживал до пенсии. Но при известии о краже станка он взбеленился:

— Найду, кто спёр — грозно говорил он — своими руками задущу. Вот этими самыми.

И потрясал внушительными пятернями.

Но он никого не нашел.

Надо сказать, я попал во ВНИСИ в переломный момент перехода от крестьянской лошадки к железному коню. Лошадки лежали в шкафах в виде ручных счетных машинок "Феникс". Они были черные, с делениями цифр спереди и ручкой сбоку, вращая которую, пользователь добивался нужного арифметического действия. Перед этим нужно было на фасаде машинки установить передвигающиеся цифры в нужное положение. Результат появлялся на табло, где вылезали итоговые числа. До сих пор жалею, что не свистнул хоть одной машинки, их там было навалом, и потерю одного бойца отряд точно бы не заметил. Тем более, что их всех вскоре списали и они окончательно исчезли и из шкафов и из научно-исследовательской жизни.

Конь вошел в жизнь отдела в образе первых электронных калькуляторов Электроника — тогда многие приборы так назывались — эти были размером с сегодняшний ноутбук с диагональю 15 дюймов, имели здоровенные красные кнопки и экранчик сверху на лампах, где высвечивался результат электронной операции. При совершении самой операции прибор думал, так что после нажатия кнопок результат появлялся секунды через три, но и это казалось чем-то из ряда вон выходящим.

А я тем временем затеял в институте небольшую реформу. Дело в том, что работа во ВНИСИ начиналась в 7.45 утра. В те времена начало рабочего дня устанавливал Мосгорисполком, и считалось, что он разводит начало работы учреждений и предприятий в Москве с тем, чтобы максимально избежать напряжений утренних и вечерних потоков работающих москвичей. Вот для этого избегания института и установили убойные 7.45 утра. Особенно страшна была цифра для наших институтских дам, которые врывались в отдел еще толком не проснувшись и блеклые, с полным отсутствием краски на физиях. Опоздать, кстати, было тяжким грехом, и за это полагалось наказание вплоть до лишения премии или иной существенной неприятности.

Я всегда считал, то крашение лица для дам есть процесс интимный и сравнивал привычку дам, с появлением мужчин в отделе, скажем, баз штанов, и привычкой одевать их уже на рабочем месте. Кстати, однажды одна сотрудница сняла пальто и стала пробираться на рабочее место под изумленные взоры мужчин и только тогда обнаружила, что она без юбки — в попытках забыла одеть дома.

Наши же дамы, усевшись утром за рабочий стол, красились битый час, что я расценивал как неуважение даже не к работе (хрен с ней), а к нам, неповинным ни в чем мужчинам.

Меж тем им (нам) тоже было тяжело. Я, например, вставал утром без 10 минут семь, за четверть часа умывался, пил приготовленный с вечера холодный чай, в 5 минут восьмого выбегал из дома и добирался на метро от станции проспект Маркса до Щербаковской, и оттуда до института, что составляло около 35-ти минут. Так что в 7.45 я уже сидел за столом. Перерыв на обед был с 12 до часу, а рабочий день оканчивался в 16.45. Мне это, в принципе, было удобно, т.к. я успевал еще захватить домой, перекусить и к 18.30 явиться на лекции в Универ, где встречался с поручиками, с которыми потом успевали еще в "Москву", садились в скверик у Ломоносова, откуда я являлся домой в полпервого ночи, ложился спать, чтобы утром встать без десяти семь и снова кошмарить своим перегаром бедную Аллу Викторовну. И так каждый день.

Нет, всё-таки молодость сильна своей энергией, которой за один день хватало на всё то, на что сейчас надобна неделя, да и то не одна.

Вот с этим утренним кошмаром я и стал бороться социологическими методами, предложив директору Пляскину гибкий график начала рабочего дня. Мотивируя это тем, что некоторые самые передовые научные институты уже его используют

и не нахвоятся. Что было правдой в смысле использования, а похвалы я прибавлял уже от себя, полагая, что маслом каши не испортишь.

Пляскин, надо отдать ему должное, идею поддержал, явив образец души широкой и склонной к новациям. Я заручился поддержкой еще двух отделов, начальники которых пожелали войти в эксперимент, и он начался в 3-х подразделениях института, включая НОТ, само собой. Для чего ж я старался.

По условиям эксперимента начинать рабочий день работник мог по своему усмотрению с 6.00 до 10.00, а оканчивать с 16.00 до 20.00. В определенных случаях требовалось согласование со своим непосредственным руководителем, если работник бывал нужен на следующий день с утра. Приход и уход отмечался в рабочем графике прихода и ухода, важно было, чтоб к концу месяца выходила норма рабочего времени. Правильность записей проверял уважаемый сотрудник отдела.

Через месяц Пляскин горько пожалел о своем решении и широкой душе и жаловался всем, что с утра ни начальников, ни сотрудников экспериментальных отделов на работе не сыщешь.

— Что это за график гибкий? — возмущался он — да они все просто к десяти ходят и всё. Никого с утра не найдешь. Безобразие.

Но джинн уже был выпущен из бутылки, начальники прикрыли свои отделы положенной в таких случаях брехнёй, и дело освобождения научного труда росло и ширилось. Пляскин махнул рукой и только с большим нетерпением стал ждать пенсии.

*Далее, дорогой читатель, я позволю себе привести выдержки из интервью, которое я когда-то давал Борису Докторову. Чего зря добру пропадать. Итак:*

...Диплом я писал на тему "Сравнительный анализ социально-психологического климата трудовых коллективов" с упором на влияние социально-психологического климата (СПК) на производительность труда. К тому времени (1982 год) я уже работал младшим инженером во ВНИСИ и сравнивал коллективы опытного производства института. В дипломе не было ни одного упоминания ни Ленина, ни Маркса — по той причине, что ни тот, ни другой о СПК ничего не написали. Тем не менее, за отсутствие таковых упоминаний мне снизили балл — я получил "четыре". И посчитал это удачей, поскольку сначала диплом вообще не хотели принимать к защите.

На дворе было начало 80-х, экономика особенно не развивалась, — и начальники придумывали разные способы, как ее подтолкнуть. И придумали всякие вещи: научная организация труда, НОТ, СПК, ПТА — профессионально-трудова адаптация, бригадный метод, КТУ, все эти аббревиатуры я еще оттуда запомнил. И насадили социологов на заводах... Чуда они, конечно, никакого не совершили, но умудрились-таки откровенно дурить головы начальникам всяким — и средним, и высоким, — делали какие-то умные отчеты, рассуждали на какие-то очень умные темы...

Как уже говорил, ВНИСИ был подотраслевым институтом, в его научном обеспечении находились что-то около сорока пяти заводов и три производственных объединения. К тому времени на каждом заводе уже сидели заводские социологи — не пойму, откуда столько набрали? — и не знали, что делать. За редким исключением вроде Якова Лазаревича Эйдельмана из Владимира. Очень знающий мужик, и настоящий профессионал — он был на голову выше всех остальных, и все к нему тянулись. Так его и звали: мэтр. Он создал не только целую службу, но и целую школу заводской социологии.

Харьковский социолог Юрий Львович Неймер, вместе с коллегой социологом Дуберманом тогда готовил гигантский проект по "Социальной паспортизации", которая должна была охватить всё министерское хозяйство. Каждый завод должен был заполнить здоровенную книгу с таблицами объективных производственных показателей, а рабочие, ИТР и служащие —

заполнить личные анкеты. Затем анкеты обрабатывались на ЭВМ ЕС-1030, которая стояла в нашем институте. Пачки перфокарт приносили ко мне и сваливали на стол — я смотрел на них со священным ужасом.

Потом данные со всех заводов подотрасли плюсовывались в одну книгу. Это было невыносимо — сидеть часами, днями, неделями и складывать числа из 6-8 знаков. Пользовались мы при этом тем самым первым советским калькулятором "Электроника". Когда я сдал "Социальной паспорт" подотрасли, который отнял года полтора — два жизни, оказалось, что все паспорта будут сливаться в паспорт отрасли, что и было сделано. Кстати, не знаю, зачем все это сливалось? Получалась средняя температура по отрасли, и никто из начальников не знал, что с этим талмудом делать.

Кроме этого, служба Ю.Л. Неймера, в которую я входил как социолог подотрасли, занималась социально-профессиональной адаптацией, анализом внедрения бригадного метода, КТУ (коэффициента трудового участия), организацией социологических служб на заводах и с особым удовольствием — организацией семинаров в очень приличных местах, кроме Харькова, я помню, во Владимире, в Суздале.

Кстати, в Суздале мы жили в прекрасной гостинице, которую социологи довольно прилично загадили, а на заседании,

где мы сидели вместе с Ларкиным (один из четырех поручиков) он к тому времени тоже работал в светотехнической системе), на трибуну выходили похмельные социологи и так надоели своим бубнёжем, что Ларкин вдруг закис от смеха.

— Ты чего? — спросил я.

— Господи, какой хернёй — изнемогал Виктор — какой хернёй мы тут все занимаемся...

Я не очень понимаю, был ли в целом какой-то толк от социологов на заводах. Вероятно, там, где сидели люди знающие, — был. Но таких было, безусловно, меньшинство, а прочих директора воспринимали как обузу. Конечно, производительность труда заводская социология не подняла, да и не могла поднять, но, видимо, какую-то роль порой выполняла.

Тут стала замышляться вторая волна "Социальной паспортизации", но я точно знал, что ее я не выдержу, она меня накроет навсегда. И я поспешил покинуть корабль светотехнической подотрасли, пока цунами был еще далеко.

Нынче я порой проезжаю по проспекту Мира и гляжу на здание, где работал четыре года. Там теперь много вывесок, но на одной написано ВНИСИ. Вроде там сейчас работает 150 человек (от бывшего величия в более тысячи), но и то хлеб, многие советские конторы окончательно испарились в бурных водах новой российской жизни.